

РАССКАЗЫ
И ФЕЛЬЕТОНЫ



РАССКАЗЫ НАЗАРА ИЛЬИЧА, ГОСПОДИНА СИНЕБРЮХОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я такой человек, что все могу... Хочешь — могу землишку обработать по слову последней техники, хочешь — каким ни на есть рукомеслом займусь, — все у меня в руках кипит и вертится.

А что до отвлеченных предметов — там, может быть, рассказ рассказать или какое-нибудь тоненькое дельце выяснить, — пожалуйста: это для меня очень даже просто и великолепно.

Я даже, запомнил, людей лечил.

Мельник такой жил-был. Болезнь у него, можете себе представить, — жаба болезнь. Мельника того я лечил. А как лечил? Я, может быть, на него только и глянул. Глянул и говорю: да, говорю, болезнь у тебя жаба, но ты не горюй и не пугайся — болезнь эта внеопасная, и даже прямо тебе скажу — детская болезнь.

И что же? Стал мой мельник с тех пор кругленький и розовенький, да только в дальнейшей жизни вышел ему перетык и прискорбный случай...

А на меня многие очень удивлялись. Инструктор, товарищ Рыло, это еще в городской милиции, тоже очень даже удивлялся. Бывало, придет ко мне, ну, как к своему задушевному приятелю:

— Ну что, — скажет, — Назар Ильич, товарищ Синебрюхов, не богат ли будешь печеным хлебцем?

Хлебца, например, я ему дам, а он сядет, запомнил, к столу, поужет-покушает, ручками этак вот раскинет.

— Да, — скажет, — погляжу я на тебя, господин Синебрюхов, и слов у меня нет. Дрожь прямо берет, какой ты есть человек. Ты, — говорит, — наверное, даже державой управлять можешь.

Хе-хе, хороший был человек инструктор Рыло, мягкий.

А то начнет, знаете ли, просить: расскажи ему что-нибудь такое из жизни. Ну, я и рассказываю.

Только, безусловно, насчет державы я никогда и не задавался: образование у меня, прямо скажу, никакое, а домашнее. Ну а в мужицкой жизни я вполне драгоценный человек. В мужицкой жизни я очень полезный и развитой.

Крестьянские эти дела-делишки я уж как понимаю. Мне только и нужно раз взглянуть как и что.

Да только ход развития моей жизни не такой.

Вот теперь, где бы мне хозяином пожить в полное свое удовольствие, я крохобором хожу по разным гиблым местам, будто преподобная Мария Египетская.

Да только я не очень горюю. Я вот теперь дома побывал и нет — не увлекаюсь больше мужицкой жизнью.

Что ж там? Бедность, блекота и слабое развитие техники.

Скажем вот про сапоги.

Были у меня сапоги, не отпираюсь, и штаны, очень даже великолепные были штаны. И можете себе представить, сгнули они — аминь — во веки веков в собственном своем домишке.

А сапоги эти я двенадцать лет носил, прямо скажу, в руках. Чуть какая мокрень или непогода — разуюсь и хлюпаю по грязи... Берегу.

И вот сгнули...

А мне теперь что? Мне теперь в смысле сапог — труба.

В германскую кампанию выдали мне сапоги штиблетами — блекота. Смотреть на них грустно. А теперь, скажем, жди. Ну, спасибо, война, может, произойдет — выдадут. Да только нет, годы мои вышли и дело мое на этот счет гиблое.

А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники.

Вот для наглядности сюжета взять иностранную державу, ну, скажем, Америку... Хорошо-с... Взяли: идет человек по улице, мужик американский, такой же, как и не я... Пальтишко на нем демисезон. Шляпка, полусапожки, может быть, замечательные...

Подходит он демонстративно к стене, поворачивает какую-нибудь там еле зримую фитюльку и:

— Ало? — говорит. — Откеда?

Говорит, а сам по камню так и точет нарочно каблучком, не боится, жаба, что сапог испортит.

Ему что? Там богатство и жизненное великолепие Европы. А у нас бедность и блекота.

Ну а рассказы мои, безусловно, из жизни и все воистинная есть правда.

ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ

Фамилией бог меня обидел — это верно: Синебрюхов, Назар Ильич.

Ну да обо мне речь никакая, — очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение, и пошла оттого моя жизнь в разные стороны, все равно как вода, скажем, в руке — через пальцы, да и нет ее.

Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь... Да только все, может, впусую... Нету здесь такого человека, молодого князя вашего сиятельства.

Может, и ушел он из России вон, а может, и неживой теперь — казнь принял.

Так-то вот!

Был у меня задушевный приятель. Ужасно образованный человек, прямо скажу — одаренный качествами. Ездил он по разным иностранным державам в чине камендинера, понимал он даже, может, по-французскому и виски иностранные пил, а был такой же, как и не я, все равно — рядовой гвардеец пехотного полка.

На германском фронте в землянках, бывало, удивительные даже рассказывал происшествия и исторические всякие там вещички.

Принял я от него немало. Спасибо! Многое через него узнал и дошел до такой точки, что случилась со мной гнусь всякая, а сердцем я и по сей час бодрюсь.

Знаю: Пипин Короткий... Встречу, скажем, человека и спрошу: а кто за есть такой Пипин Короткий?

И тут-то и вижу всю человеческую образованность все равно как на ладони.

Да только не в этом штука.

Было тому.. сколько?.. четыре года взад. Призывает меня ротный командир в чине — гвардейский поручик и князь ваше сиятельство. Ничего себе. Хороший человек.

Призывает. Так, мол, и так, говорит, очень я тебя, Назар, уважаю и вполне ты прелестный человек... Сослужи, говорит, мне еще одну службишку.

Произошла, говорит, Февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное имение, передай вот это самое письмишко в самые то есть его ручки и жди, что скажет. А супруге, говорит, моей, прекрасной полячке Виктории Казимировне, низынько поклонись в ножки и ободря каким ни на есть словом. Исполни, говорит, это для-ради бога, а я, говорит, ошастливлю тебя суммой и пуцу в несрочный отпуск.

— Ладно, — отвечаю, — князь ваше сиятельство, спасибо за ласку, только, может, я и не стою таких ваших слов.

А у самого сердце огнем играет: эх, думаю, как бы это исполнить.

А был князь ваше сиятельство со мной все равно как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конечно, я поступил геройски. Это верно.

Стою раз преспокойно на часах у княжешей земляночки на германском фронте, а князь ваше сиятельство пирует с приятелями. Тут же между ними, запомнил, сестричка милосердия.

Ну, конечно: игра страстей и разнузданная вакханалия... А князь ваше сиятельство, из себя пьяненький, песни играет.

Стою. Только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят, а немец, безусловно, тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло.

«Ах ты, — думаю, — так твою так — газы!»

А поветрие легонькое этакое в нашу, в русскую сторону.

Беру преспокойно зелинскую маску (с резиной), избегаю в земляночку...

Так, мол, и так, кричу, князь ваше сиятельство, дыши через маску — газы.

Очень тут произошел ужас в земляночке.

Сестричка милосердия — бяк, с катушек долой, — мертвая падаль.

А я сволок князеньку вашего сиятельства на волю, кострик разложил по уставу. Зажег. Лежим, не трепыхнемся... Что будет... Дышим.

А газы... Немец — хитрая сука, да и мы, безусловно, тонкость понимаем: газы не имеют права осесть на огонь.

Газы туды и сюды крутятся, выскивают нас-то... Сбоку да с верхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают...

А мы, знай, полеживаем да дышим в маску...

Только прошел газ, видим — живые.

Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается.

— Теперь, — говорит, — ты, Назар, мне все равно как первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, осчастливь. Буду о тебе пекчись.

Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год прямо-таки замечательно.

И вот тут-то и случилось: засылает меня ваше сиятельство в родные свои места.

Собрал я свое барахлишко.

«Исполню, — думаю, — показанное, а там — к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга нестарая и мальчишек».

Хорошо-с. В город Смоленск прибыл, а оттуда славным образом на пароходе на пассажирском в родные места старого князя.

Иду — любуюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное, запомнил, заглавие — вилла «Забава».

Вспрашиваю: здесь ли, говорю, проживает старый князь ваше сиятельство? Я, говорю, очень по самонужнейшему делу с собственноручным письмом из действующей армии.

Это бабенку-то я спрашиваю.

А бабенка:

— Вон, — говорит, — старый князь ходит грустный из себя по дорожкам.

Безусловно: ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство.

Вид, смотрю, замечательный — сановник, светлейший князь и барон. Бородища баками пребелая-белая. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий.

Подхожу. Рапортую по-военному. Так, мол, и так, совершилась, дескать, Февральская революция, вы, мол, староватенький, и молодой князь, ваше сиятельство, в совершенном расстройстве по поводу недвижимого имущества. Сам же, говорю, жив и невредимый и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна.

Тут и передаю секретное письмишко.

Прочел это он письмишко.

— Пойдем, — говорит, — милый Назар, в комнаты. Я, — говорит, — очень сейчас волнуясь... А пока — на, возьми, от чистого сердца рубль.

Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казмировна с дитей.

Мальчик у ней — сосун млекопитающийся.

Поклонился я низынько, спрашиваю, какво живет ребеночек, а она будто нахмурилась.

— Очень, — говорит, — он нездоровый, ножками крутит, брюшком пухнет, — краше в гроб кладут.

— Ах ты, — говорю, — и у вас, ваше сиятельство, горе такое же человеческое.

Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост.

Собрались к вечеру княжие люди на паужин. И я с ними.

Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и спрашиваю:

— А что, — говорю, — хорош ли будет старый князь ваше сиятельство?

— Ничего себе, — говорят, — хороший, только не иначе как убьют его скоро.

— Ай, — говорю, — что сделал?

— Нет, — говорят, — ничего не сделал, вполне прелестный князь, но мужички по поводу Февральской революции беспокоятся и хитрят.

Тут стали меня, безусловно, про революцию спрашивать. Что к чему.

— Я, — говорю, — человек неосвещенный. Но произошла, — говорю, — Февральская революция. Это верно. И низвержение царя с царицей. Что же в дальнейшем — опять, повторяю, не освещен. Однако произойдет отсюда людям немалая, думаю, выгода.

Только встает вдруг один, запомнил, из кучеров. Злой мужик. Так и язвит меня.

— Ладно, — говорит, — Февральская революция. Пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему и кого бить, не показано. Это, — говорит, — допустимо? И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал?

— Может, — говорю, — и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь.

— А на кой мне, — ярится, — твоя землишка, если я буду из кучеров? А?

— Не знаю, — говорю, — не освещен. И мое дело — сторона.

А он говорит:

— Недаром, — говорит, — мужички беспокоятся — что к чему... Старосту Ивана Костыля побили ни за про что, ну и князя, безусловно, кончат.

Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут.

Усадили меня, запомнил, в кресло, а сами такое:

— Я, — говорит, — тебе, Назар, по-прямому: тени я не люблю наводить, так и так, мужички не сегодня завтра пойдут жечь имение, так нужно хоть малехонько спасти. Ты, мол, очень верный человек, мне же, — говорит, — не на кого положиться... Спаси, — говорит, — для ради бога положение.

Берет тут меня за ручки и водит по комнатам.

— Смотри, — говорит, — тут саксонское серебро черненное и драгоценный горный хрусталь и всякие, — говорит, — золотые излишества. Вот, — говорит, — какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке.

А сам шкаф откроет — загорюется.

— Что ж, — говорю, — ваше сиятельство, я не причинен.

А он:

— Знаю, — говорит, — что не причинен, но сослужи, — говорит, — милый Назар, предпоследнюю службу: бери, — говорит, — лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, — говорит, — мы схороним что можно и утопчем ножками.

— Что ж, — отвечаю, — ваше сиятельство, я хоть человек и неосвещенный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, — говорю, — безусловно, согласен на это дело, потому, — говорю, — если саксонское черненное серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить.

А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички.

Испытываю, что за есть такой Пипин Короткий.

Тут и высказал ваше сиятельство всю свою высокую образованность.

Хорошо-с...

К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака. Беру лопату — и в гусиный сарай.

Место оцупал. Рою.

И только берет меня будто жуть какая. Всякая то есть гнусь и невидаль в воспоминанье лезет.

Копну, откину землишку — потею и рука дрожит. А умершие покойники так и представляются, так и представляются...

Рыли, помню, на австрийском фронте окопчики и мертвое австрийское тело нашли...

И зрим: когти у покойника предлинные-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит, растут они в земле после смерти. И такая на нас, как сказать, жуть напала — смотреть больно. А один гвардеец дерг да дерг за ножку австрийское мертвое тело... Хороший, говорит, заграничный сапог, не иначе как австрийский... Любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг, а ножка в руке и осталась.

Да-с. Вот такая-то гнусь мертвая лезет в голову, но копаю самоильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит что-то в углу. Тут я и присел.

Смотрю: ваше сиятельство с фонарчиком лезет — беспокоится.

— Ай, — говорит, — ты умер, Назар, что долго? Берем, — говорит, — сундучки поскорейча — и делу конец.

Принесли мы, запомнил, десять претяжеленных-тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками.

К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любуется мной и за ручку жмет.

— Вот, — говорит, — тут письмишко к молодому вашему сиятельству. Рассказан тут план местонахождения клада.

— Поклонись, — говорит, — ему — сыну и передай родительское благословение.

Оба тут мы полюбовались друг другом и разошлись.

Домой я поехал... Да тут опять речь никакая.

Только прожил дома почти-то два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю: произошли, говорят, события, отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Вспрашиваю: где ж такое ваше сиятельство?

— Уехал, — говорят, — а куда — неизвестно.

Хорошо-с...

Штаб полка.

Являюсь по уставу внутренней службы. Так и так, рапортую, — из несрочного отпуска.

А командир, по выбору, прапорщик Лапушкин — бяк меня по уху.

— Ах ты, — говорит, — княжий холуй, снимай, говорит, собачье мясо, воинские погоны!

Здорово, думаю, бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая...

— Ты, — говорю, — по морде не бейся. Погоны снять — сниму, а драться я не согласен.

Хорошо-с.

Дали мне, безусловно, вольные документы по чистой.

— Катись, — говорят, — колбаской.

А денег у меня, запомнил, ничего не было, только рубль дареный, зашитый в ватном жилете.

«Пойду, — думаю, — в город Минск, разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня капиталом».

Только иду нешибко лесом, слышу — кличет кто-то.

Смотрю — посадские. Босые босычки. Крохоборы.

— Куда, — спрашивают, — идешь-катишься, военный мужичок?

Отвечаю смиренномудро:

— Качусь, — говорю, — в город Минск по личной своей потребности.

— Тек-с, — говорят, — а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешочке?

— Так, — отвечаю, — кое-какое свое барахлишко.

— Ох, — говорят, — врешь, худой мужик!

— Нету, воистинная моя правда.

— Ну, так объясни, если на то пошло, полностью свое барахлишко.

— Вот, — объясняю, — теплые портянки для зимы, вот запасная блуза гимнастеркой, штаны кой-какие...

— А есть ли, — спрашивают, — деньги?

— Нет, — говорю, — извините худого мужика, денег не припас.

Только один рыжий такой крохобор, конопатый:

— Чего, — говорит, — агитировать: становись (это мне то есть), становись, примерно, вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем.

Только смотрю — нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, но отвечаю негордо:

— Зачем, — отвечаю, — относишься с такими словами? Я, — говорю, — на это совершенно даже не согласен.

— А мы, — говорят, — твоего согласия не спросим, нам, — говорят, — на твое несогласие ровно даже начихать. Становись, и все тут.

— Ну хорошо, — говорю, — а есть ли вам от казни какая корысть?

— Нет, корысти, — говорят, — нету, но мы, — говорят, — для-ради молодечества казним, дух внутренний поддержать.

Одолел тут меня ужас смертный, а жизнь прельщает наслаждением. И совершил я уголовное преступление.

— Убиться я, — говорю, — не согласен, но только послушайте меня, задушевные босячки: имею я, безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства.

И привожу им письмо.

Только читают, безусловно: гусиный сарай... саксонское серебро... план местонахождения.

Тут я оправился, путь, думаю, неблизкий, дам теку.

Хорошо-с...

А босячки:

— Веди, — говорят, — нас, если на то пошло, к плану местонахождения клада. Это, — говорят, — тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили.

Очень мы долго шли, две губернии, может, шли, где ползком, где леском, но только пришли в княжескую виллу «Забава». А только теку нельзя было дать — на ночь вязали руки и ноги.

Пришли.

«Ну, — думаю, — быть беде — уголовное преступление против вашего сиятельства».

Только узнаем: до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а прелестная полячка Виктория Казимировна уволена вон из имения.

А в имении заседает, дескать, комиссия.

Хорошо-с.

Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор.

Показываю босячкам:

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот коровий хлев, вот пристроечки всякие, а вот и...

Только смотрю — нету гусяного сарая.

Будто должен где-то тут существовать, а нету.

«Фу ты, — думаю, — так твою так...» Идем обратно.

— Вот, — говорю, — двор вашего сиятельства, вот хлев коровий...

Нету гусяного сарая. Прямо-таки нету гусяного сарая. Обижаться стали босячки. А я аж весь двор объелозил на брюхе и смотрю, как бы уволиться. Да за мной босячки — пугаются, что, дескать, сбегу.

Пал я тут на колени.

— Извините, — говорю, — худого мужика, — водит нас незримая сила. Не могу признать местонахождения.

Стали тут меня бить босячки инструментами по животу и по внутренностям. И поднял я крик очень ужасный.

Хорошо-с.

Сбежались хрестьяне и комиссия.

Выяснилось: клад вашего сиятельства, а где — неизвестно.

Стал я Богом божиться — не знаю, мол, что к чему, приказано, дескать, передать письмишко, а я не причинен.

Пока хрестьяне рассуждали, что к чему, и солнце встало.

Только смотрю: светло и, безусловно, нет гусяного сарая. Вижу: кто-то разорил на слом гусяный сарай. «Ну, — думаю, — хорошо. Больно хорошо. Молчи теперь, помалкивай, Назар Ильич, господин Синебрюхов».

А очень тут разгорелась комиссия. И какой-то, запомнил, советский комиссар так и орет горлом, так и прет пузом на меня...

— Ты, — говорю, — смотри пузом на меня не при, потому я, безусловно, не причинен.

А он:

— Это, — говорит, — дело уголовное и статья, — говорит, — есть такая... Рой, — кричит, — хрестьянские товарищи, землишку, выкопавшей все сарай, выискивай на мою голову.

Разошлись все, безусловно, по сараям, копают — свист идет, а, безусловно, ничего нету. А босячки мои сгрудились — сиг через забор, — только их и видели.

А меня скрутили, связали руки, ударили нешибко по личности и отвезли в тюрьму. А посла на общественных работах мурыжили год.

А нашли клад или не нашли — я не знаю. Я в тех местах больше не бывал.

ВИКТОРИЯ КАЗИМИРОВНА

В Америке я не бывал и о ней, прямо скажу, ничего не знаю.

А вот из иностранных держав про Польшу знаю. И даже могу ее разоблачить.

В германскую войну я три года ходил по польской земле... И нет, не люблю я полячишек. В натуре у них, знаю, всякие хитрости.

Скажем — баба. Ихняя баба в руку целует. Только взойдешь в халупу:

— Ниц нема, пан...

И сама, стерва, в руку.

Русскому человеку это невозможно.

Мужик ихний — безусловно, хитрая нация. Ходит завсегда чисто, бороденка бритая, денежку копит.

Нация их и теперь выясняется. Скажем: Верхняя Силезия... Зачем, пожалуйста, полячку Верхняя Силезия? Зачем же издеваться над германской расой?

Ну хорошо, живи отдельной державой, имей свою денежную единицу, а к чему же еще такое несбыточное требование?

Нет, не люблю я полячишек...

А вот поди ж ты: встретил польскую паненку — и такая у меня к Польше симпатия пошла, лучше, думаю, этого народа и не бывает.

Да только ошибся.

Нашло на меня, прямо скажу, такое чудо, такой туман: что она, прелестная красавица, ни скажет, то я и делаю.

Убить человека я, скажем, не согласен — рука дрогнет, а тут убил, и другого, престарелого мельника, убил. Хоть и не своей рукой, да только путем своей личной хитрости.

А сам, подумать грустно, ходил легкомысленно женишком прямо около нее, бороденку даже подстриг и в подлую ее ручку целовал.

Было такое польское местечко Крево. На одном конце — пригорок — немцы окопались. На другом — обратно пригорок — мы окопчики взрыли, и польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками в овраге.

Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева и, как бы сказать, добришко кому покинуть грустно — остались. И как они так существовали — подумать странно.

Пуля так и свистит, так и свистит над ними, а они — ничего, живут себе прежней жизнью.

Ходили мы к ним в гости.

Бывало, в разведку либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу.

К мельнику все больше ходили.

Мельник такой существовал престарелый. Баба его сказывала: имеет, говорит, он деньжонки капиталом, да только не говорит где.

Будто обещал сказать перед смертью, а пока чегой-то пугается и скрывает.

А мельник, это точно, скрывал свои деньжонки.

В задушевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие.

— Пусть, — говорит, — они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки, — оберут как липку и бросят за свои любезные, даром что свои родные родственники.

Мельника этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там, сочувствовал, семейное удовольствие, если болезнь у него жаба и ноготь, заметил я, синий.

Хорошо-с. Баловали они старичка.

Старик кобенится и финтит, а они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажет про деньги.

А была у мельника семья: баба его престарелая да неродная дочка, прелестная паненка Виктория Казимировна.

Я вот рассказывал великосветскую историю про клад князя вашего сиятельства — все воистинная есть правда: и босячки-крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. И быть ее не могло. Была она в другой раз и по другому делу... Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника.

И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения... Только, помню, пришли раз к мельнику. Сидим хихикаем, а Виктория Казимировна все, замечаю, ко мне ластится: то, знаете ли, плечиком, то ножкой.

«Фу ты, — восхищаюсь, — так твою так — случай».

А сам все же пока остерегаюсь, отхожу от нее да отмалчиваюсь.

Только попозже берет она меня за руку, любитесь мной.

— Я, — говорит, — господин Синебрюхов, могу даже вас полюбить (так и сказала). И уже имею что-то в груди. Только, — говорит, — есть у меня до вас просьбишка: спасите, — говорит, — меня для-ради бога. Желаю, — говорит, — уйти из дому в город Минск или еще в какой-нибудь там польский город, потому что — сами видите — погибаю я здесь курам на смех. Отец мой, престарелый мельник, имеет капитал, так нужно выпытать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, — говорит, — против отца не злоупотребляю, но не сегодня завтра он, безусловно, помрет, болезнь у него — жаба, и пугаюсь я, что про капитал не скажет.

Начал я тут удивляться, а она прямо-таки всхлипывает, смотрит в мои очи, любитесь.

— Ах, — говорит, — Назар Ильич, господин Синебрюхов, вы — самый здесь развитой и прелестный человек, и как-нибудь вы это сделаете.

Хорошо-с. Придумал я такую хитрость: скажу старичку, дескать, выселяют всех из местечка Крево... Он, безусловно, вынет свое добро... Тут мы и заставим его поделить.

Прихожу назавтра к ним, сам, знаете ли, бороденку подстриг, блюзу-гимнастерку новую надел, являюсь прямо-таки парадным жеманом.

— Сейчас, — говорю, — Викторичка, все будет исполнено.

Подхожу демонстративно к мельнику.

— Так и так, — говорю, — теперь, — говорю, — вам, старичок, как-юк-компания — выйдет завтра приказ: по случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крево.

Ох как содрогнется тут мой мельник, как вскинется на постельке... И сам как был в нижних подштанниках — шась за дверь и слова никому не молвил.

Вышел он на двор, и я тихонько следом.

А дело ночное было. Луна. Каждая даже травинка виднеется. И идет он весь в белом, будто шкелет какой, а я за сарайчиком прячусь.

А немец, помню, что-то тогда постреливал. Только прошел он, старичок, немного, да вдруг как ойкнет. Ойкнет и за грудь скорей. Смотрю — и кровь по белому каплет.

«Ну, — думаю, — произошла беда — пуля».

Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому.

Да только, смотрю, пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная.

Забегал я к нему, сам пугаюсь — хватя да хватя его за руку, а рука холодеет, и смотрю: в нем дыханья нет — покойник. И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, а как на пол ступит, так пол гремит — земля к себе покойника требует.

Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скопился.

И такой в халупе страх настал, — сидим, и дышать даже жутко.

Так вот помер мельник через меня, и сгинули — аминь во веки веков — его деньжонки капиталом.

А очень тут загрустила Виктория Казимировна. Плачет она и плачет и всю неделю плачет — не сохнут слезы.

А как приду к ней — гонит и видеть меня не может.

Так прошла, запомнил, неделя, являюсь к ней. Слез, смотрю, нету, и подступает она ко мне даже любовно.

— Что ж, — говорит, — ты сделал, Назар Ильич, господин Синебрюхов? Ты, — говорит, — во всем виноват, ты теперь и раскаивайся. Достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, — говорит, — ты первый для меня преступник, и уйду я, знаю куда, в обоз, — звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки браслетой.

Покачал я прегорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низынько:

— Пойду, — говорит, — поджидает-ждет меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич, господин Синебрюхов!

— Стой, — говорю, — стой, Виктория! Дай, — говорю, — рок, — дело это обдумать надо!

— А чего, — говорит, — его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, только исполни мою просьбу.

И осенила тут меня мысль.

«На войне, — думаю, — все можно. Будут, может, немцы наступать — пошурю по карманам, если на то пошло».

А вскоре и вышел подходящий случай.

Была у нас в окопах пушечка... Эх, дай бог память — Гочкис заглавие. Морская пушечка Гочкис.

Дульце у ней тонехонькое, снаряд — и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд. А стреляет она всячески неслабо. Стрельнет и норовит взорвать, что побольше.

Над ней и командир был — морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но — сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто.

А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп.

Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и — пушечка.

Германии она очень досаждала. В польский костел она была по кумполу, потому был там германский наблюдатель.

По пулеметам тоже била.

И прямо немцам она не давала никакого спасения.

Так вот вышел случай.

Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть — затвор. И притом унесли пулемет. И как это случилось — удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории Казимировне пошел, часовой у пушечки вздремнул, а подчасок, сволочь такая худая, в дежурный взвод пошел. Там в картишки играли.

Ну ладно. Пошел.

Только играет он в карты, выигрывает и, сучий сын, не поинтересуется посмотреть, что случилось.

А случилось: немцы пушечкин затвор стибрили.

К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит: лежит часовой, безусловно, мертвый и кругом — кража.

Ох и было же что тогда!

Морской подпоручик Винча тигрой на меня насакивает, весь дежурный взвод ставит под винтовку и каждому велит в зубах по карте держать, а подчаску — веером три карты.

А к вечеру едет — волнуется генерал ваше превосходительство.

Ничего себе, хороший генерал.

Взглянул на взвод, и гнев его прошел. Тридцать человек, как один, в зубах по карте держат.

Усмехнулся генерал.

— Выходи, — говорит, — отборные орлы, налетай на немцев, разорай внешнего врага.

Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними.

Генерал ваше превосходительство восхищается нами.

— Ночью, — говорит, — летите, отборные орлы. Режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет и, если случится, — пушечкин затвор.

Хорошо-с...

К ночи мы и пошли.

Я-то играючи пошел. Мыслишку, во-первых, свою имел, а потом, имейте в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул.

В одна тыща девятьсот, должно быть, что в шестнадцатом году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. На груди у него — клетка, а в клетке — не попка, — попка та зеленая, — а тут вообще какая-то тропическая птица.

Так она, сволочь такая, ученая, клювом вынимала счастье — кому что. А мне, запомнил, планета Рак и жизнь предсказана до 90 лет.

И еще там многое что предсказано, что — я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности.

И тут вспомнил я предсказание и пошел, прямо скажу, гуляючи.

Подошли мы к немецкой проволоке. Темь. Луны еще не было. Прорезали преспокойно лаз. Спустились вниз, в окопчики в германские. Прошли шагов с полста — пулемет — пожалуйста.

Уронили мы германского часового наземь и придушили тут же...

Очень мне это было неприятно, жутковато, и вообще, знаете ли, ночной кошмар.

Хорошо-с.

Сняли пулемет с катков, разобрали кому что: кому катки, кому ящички, а мне, запомнил, подсунули, так их так, самую что ни на есть тяжесть — тело пулемета.

И такой, провалился он совсем, претяжеленный был: те налегке — шаг да шаг и скрылись от меня, а я пыхчу с ним — затрудняюсь. Мне бы наверх ползти, да смотрю — проход сообщения. Я в проход сообщения... А из-за угла вдруг германец прездоровенный-здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги и винтовку тоже против него вскинул.

Только чую — германец стрельнуть хочет, голова на мушке.

Другой оробел бы, другой — ух как оробел бы, а я ничего — стою, не трепыхнусь даже. А поверни я только спину либо щелкни затвором — тут, безусловно, мне и конец.

Так вот стоим друг против дружки, и всего-то до нас пять шагов. Зрим друг друга глазами и ждем, кто побежит. И вдруг как задрожит германец, как обернется назад... Тут я в него и стрельнул. И вспомнил свою мыслишку. Подполз к нему, пошарил по карману — противно. Ну да ничего — перевозмог себя, вынул кабаньей кожи бумажник, вынул часишки в футляре (немцы все часишки в футляре носят), взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки — нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти?

Стал я через проволоку продираться — трудно. Может быть, час или больше лез, всю прорвал себе спину и руки совсем изувечил. Да только все-таки пролез. Вздохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать, — кровь так и льет.

И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает. Хотел было я бежать, да тут немцы тревогу под-

няли, нашли, видимо, у себя происшествие, открыли по русским огонь, и, конечно, поползи я, тут бы меня заметили и убили.

А место, смотрю, вполне открытое было и подальше травы даже нет — лысое место. А до халуп шагов триста.

Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, Назар Ильич, господин Синебрюхов, благо трава спасет.

Хорошо. Лежу.

А немцы, может быть, очень обиделись: стибрили у них пулемет и двоих почем зря убили, — мстят — стреляют, прямо скажу, без остановки.

К полдню перестали стрелять, да только, смотрю, чуть кто провится в нашей, в русской стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они настороже и нужно лежать до вечера.

Хорошо-с.

Лежу час. И два лежу. Интересуюсь бумажником — денег немало, только все иностранные. Часишками люблюсь. А солнце прямо так и бьет в голову, и дух у меня замирать стал. И жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну, только смотрю — сверху на меня ворон спускается.

Я лежу живой, а он, может, думает, что падаль, и спускается.

Я на него тихонько шикаю:

— Ш-ш, — говорю, — пошел, провал тебя возьми!

Машу рукой, а он, может быть, не верит и прямо на меня наседает.

И ведь такая птичья сволочь — прямо на грудь садится, а поймать я никак его не поймаю — руки изувечены, не гнутся, а он еще бьется больно клювом и крылами.

Я отмахнусь — он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже. Это он кровь, гадюка, на руке чувствует.

«Ну, — думаю, — пропал, Назар Ильич, господин Синебрюхов! Пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря.

Немцы, безусловно, сейчас заметят, что такое приключилось тут за проволокой. А приключилось: ворон при жизни человека жрет».

Бились так мы долго. Я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прямо-таки чуть не плачу. Руки

у меня и так-то изувечены — кровь текет, а тут еще он щиплет. И такая злоба к нему напала, только он на меня устремился, как я на него крикну: кыш, кричу, сволоочь паршивая!

Крикнул, и, безусловно, немцы сразу услышали. Смотрю, змеей ползут германцы к проволоке.

Вскочил я на ноги — бегу. Винтовка по ногам бьется, а пулемет на-земь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я и к земле не припадаю — бегу.

И как я добежал до первых халуп, прямо скажу — не знаю. Только добежал, смотрю — из плеча крова текет — ранен. Тут по-за халупами шаг за шагом дошел до своих и скосился замертво. А очнулся, запомнил, в обозе в полковом околотке.

Только хватать-похватать за карман — часишки тут, а кабаньего бу-мажника как не бывало. То ли я на месте его оставил — ворон спря-тать помешал, то ли выкрали санитары.

Заплакал я прегорько, махнул на все рукой и стал поправляться.

Только узнаю: живет у прапорщика Лапушкина здесь в обозе прелестная полячка Виктория Казимировна.

Хорошо-с.

Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием, и явля-юсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину.

Вхожу в халупу.

— Вздравствуйте, — говорю, — ваше высокоблагородие и здрав-ствуйте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна.

Тут, смотрю, смутились они оба. А он встает, ее заслоняет.

— Чего, — говорит, — тебе надобно? Ты, — говорит, — давно мне примелькался, под окнами треплешься. Ступай, — говорит, — отсю-дова, так твою и так...

А я грудь вперед и гордо так отвечаю:

— Вы, — говорю, — хоть и состоите в чине, а дело тут, между прочим, гражданское, и имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, — говорю, — она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор.

Как закричал он на меня:

— Ах ты, — закричал, — сякой-такой водохлеб! Как же ты это смеешь так выражаться... Снимай, — говорит, — Георгия, сейчас я тебя наверно ударю.

— Нет, — отвечаю, — ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у вас, — говорю, — руки короткие.

А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет.

Да только она молчит, за Лапушкину спину прячется.

Вздыхнул я прегорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе.

Только вышел за дверь, слышу, кто-то топочет ножками.

Смотрю: Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трико-тажный платочек.

Подбежала она ко мне, в руку впилась цапастьенькими коготками, а сама и слова не может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку и сама такое:

— Низынько кланяюсь вам, Назар Ильич, господин Синебрюхов... Простите меня, такую-то, для-ради бога, да только судьба у нас разная...

Хотел я было упасть тут же, хотел было сказать что-нибудь такое — да вспомнил все, перевозмог себя.

— Нету, — говорю, — тебе, полячка, прощения во веки веков.

ЧЕРТОВИНКА

Жизнь я свою не хаю. Жизнь у меня, прямо скажу, роскошная.

Да только нельзя мне, заметьте, на одном засиженном месте сидеть да бороденку почесывать.

Все со мной чтой-то такое случается... Фантазии я своей не доверяю, но какая-то, может быть, чертовинка препятствует моей хорошей жизни.

С германской войны я, например, рассчитывал домой уволиться. Дома, думаю, полное хозяйство. Так нет, навалилось тут на меня, прямо скажу, за ни про что все-всякое. Тут и тюрьма, и сума, и пришлось даже мне, такому-то, идти наниматься рабочим батраком к своему задушевному приятелю. И это, заметьте, при полном своем семейном хозяйстве.

Да-с.

При полном хозяйстве нет теперь у меня ни двора, ни даже куриного пера. Вот оно какое дело!

А случилось это вот как.

Из тюрьмы меня уволили, прямо скажу, нагишом. Из тюрьмы я вышел разутый и раздетый.

Ну, думаю, куда же мне такому-то голому идти — домой являться? Нужно мне обжиться в Питере.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

| | |
|---|-----|
| Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова | 7 |
| Веселая жизнь | 38 |
| Вор | 45 |
| Веселая масленица | 48 |
| Сила таланта | 50 |
| Матреница | 51 |
| Горькая доля | 55 |
| Европа | 57 |
| Новый человек | 59 |
| Писатель | 61 |
| Приятная встреча | 63 |
| Беда | 65 |
| Жертва революции | 68 |
| Аристократка | 71 |
| Человеческое достоинство | 74 |
| Собачий нюх | 76 |
| Барон Некс | 78 |
| Любовь | 81 |
| Хозрасчет | 84 |
| Исторический рассказ | 86 |
| Брак по расчету | 87 |
| Счастье | 90 |
| Медик | 93 |
| Диктофон | 95 |
| Исповедь | 97 |
| Верная примета | 99 |
| Поводырь | 100 |
| Родственник | 104 |
| Европеец | 106 |
| Случай в провинции | 108 |
| Отхожий промысел | 112 |
| Нянькина сказка | 115 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------|-----|
| Актер | 117 |
| Баня | 120 |
| На живца | 122 |
| Суконное рыло | 124 |
| Доходная статья | 125 |
| Пассажир | 128 |
| Рабочий костюм | 130 |
| Стакан | 132 |
| Чудный отдых | 134 |
| Муж | 136 |
| Папаша | 138 |
| Инженер | 140 |
| Кризис | 141 |
| Нервные люди | 143 |
| Святочная история | 145 |
| Родные люди | 147 |
| Именинница | 148 |
| Бочка | 150 |
| Режим экономии | 152 |
| Кинодрама | 153 |
| Рачис | 155 |
| Театральный механизм | 156 |
| Узел | 158 |
| Прелести культуры | 159 |
| Лимонад | 162 |
| Спешное дело | 164 |
| Товарищ Гоголь | 165 |
| Гости | 167 |
| Качество продукции | 169 |
| Хиромантия | 171 |
| Мелкота | 172 |
| Волокита | 174 |
| Обезьяний язык | 176 |
| Пушкин | 178 |
| Царские сапоги | 180 |
| Литератор | 182 |
| Рука ближнего | 184 |
| Душевная простота | 186 |
| Пароход | 188 |
| Каторга | 190 |
| Операция | 192 |
| Зубное дело | 193 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------|-----|
| Кошка и люди | 195 |
| Хамство | 197 |
| Иностранцы | 198 |
| Медицинский случай | 200 |
| Хороший знакомый | 202 |
| Честное дело | 205 |
| Землетрясение | 207 |
| Чистая выгода | 210 |
| Испытание героев | 212 |
| Врачевание и психика | 218 |
| Западня | 223 |
| Грустные глаза | 226 |
| Анна на шее | 229 |
| Водяная феерия | 234 |
| Науку — на борьбу с шумом! | 238 |
| История болезни | 241 |
| Спи скорей | 245 |
| Опасные связи | 248 |
| Огни большого города | 251 |
| В Пушкинские дни | 255 |
| Двадцать лет спустя | 260 |
| Парусиновый портфель | 271 |
| Сердца трех | 275 |
| Похвала транспорту | 280 |
| У подъезда | 283 |
| Кочерга | 286 |
| Ночное происшествие | 289 |
| Леля и Минька | 291 |
| Фотокарточка | 322 |
| Приключения обезьяны | 326 |

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОВЕСТИ

| | |
|--|-----|
| Сентиментальные повести | 335 |
| Предисловие к первому изданию | 335 |
| Предисловие ко второму изданию | 336 |
| Предисловие к третьему изданию | 337 |
| Предисловие к четвертому изданию | 337 |
| Аполлон и Тамара | 338 |
| Люди | 357 |
| Страшная ночь | 388 |
| О чем пел соловей | 404 |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----|
| Веселое приключение | 422 |
| Сирень цветет | 442 |
| Первые повести | 473 |
| Мудрость | 473 |
| Коза | 481 |
| М. П. Синягин. (Воспоминания о Мишеле Синягине) | 501 |

ГОЛУБАЯ КНИГА

| | |
|-------------------------------------|-----|
| М. Горькому | 543 |
| Предисловие | 544 |
| I. Деньги | 547 |
| II. Любовь | 602 |
| III. Коварство | 655 |
| IV. Неудачи | 710 |
| V. Удивительные события | 775 |
| Приложение к пятому отделу | 804 |
| Бедная Лиза | 804 |
| Рассказ о студенте и водолазе | 808 |
| Происшествие | 811 |
| Мелкий случай из личной жизни | 814 |
| Последний рассказ | 818 |
| Послесловие ко всей книге | 821 |
| Прощание с философом | 822 |
| Прощание с читателем | 824 |